

## Стена-графья

Наш университет — высшее учебное заведение, в научной жизни он занимает ведущее место. Если со всей справедливостью, — лучше нашего университета нет.

Я, когда сюда первый раз приходил поступать, еще сопляком был, в 8-м классе учился — дверь не смог открыть. Мать сказала: «Мало каши ел». С тех пор я старался. И поступил. Вот университет так университет!

Огляделся, оказывается, в университете полно своих правил на-вядумано. И мои личные здесь не всегда подходят. Ну, сразу какое университетское правило запомнилось — женщин пропускать вперед. А что, здесь у них женщина, как и не человек?

Потом оказалось, преподавателей тоже надо пропускать, и старичков тоже. Понабежало этих льготников. А ты, значит, стой.

Выходит, у студента нет никаких человеческих прав.

А тут еще — нехорошо, говорят, сидеть, когда женщина стоит. Мало ей — первая в двери лезет, так еще стой, если она себе места не захватила. Посмотришь, то одна стоит, то другая. А у тебя что — ноги казенные? Так и проведешь всю молодость в стойке как собака охотничья. В трамвае только зажмуришься, думаешь — ни за что не проснусь, — опять же старушка. То у нее нога болит, то ноги, понимай, сразу обе.

Вообще с правилами круто.

Зима пришла. Холодно. Человек шапку надел. Входишь в аудиторию — снимай! А в чем дело? Я так понимаю, входишь в аудиторию — надевай, чтоб в руках не путалась. Шапкино место на голове. Идешь заниматься, считай, что работать, все лишнее — по местам.

Нет, говорят, — снимай.

Так вопрос о головном уборе и остался открытым. Вот говорят, когда рыцарь в путь собирался, он надевал латы, кольчугу, шлем — за каждым кустом могли напасть на него разбойники, как теперь.

Когда рыцарь входил в дом, он снимал шлем, чтоб показать хозяину, что пришел с добрыми намерениями. Голова, мол, открыта, значит не на драку приполз; конечно, если бандит влезет в дом, он шапку снимать не будет. Но то про бандита. А студент — он вроде как рыцарь.

Есть в нашем университете и другое культурологическое правило: писать можно только на бумаге или на доске. А где там писать на доске, 2х2 вся полезная площадь. На бумаге и того меньше. Если только для себя. А если захочешь написать что-нибудь для народа? Ректор сказал: «Отчислять будем». Выходит, хоть все экзамены сдал, все равно за какие-нибудь три буквы паршивые можешь на вылет пойти. Я думал, ректор шутит. Какое.

Ребята говорят, есть в университете одна такая аудитория, куда преподаватели и войти-то стесняются. Тут дело такое — под страхом исключения пишут. А университет так и не может их поймать, и каждый год моет, затирает, перекрашивает.

Если бы учительница, которая их учила читать и писать, знала, на что они употребят свою грамотность, может быть, решила бы: пусть неграмотными остаются. Чище мир будет.

Да, в нашем университете культурологических правил не обещался. Одна девица мне сказала: «Не старайся казаться не тем, чем ты есть на самом деле». Но про это ректор ничего не говорил.

Она вообще-то сильно мне мозги подзапудрила: «В человеке все должно быть прекрасным: и лицо, и руки, и одежда, и прическа». Что-то такое я уже слышал. Только с первого раза не обратил внимания. Со второго — взял под сомнение.

Разве может человек свое лицо изменить? Она говорит — может. Улыбнись — и порядок. На всякий случай пошел в туалет и проверил. Оскалился. Жуть! «Врать-то», — говорю ей. Но она своего держится: «Ты, — говорит, — про что-нибудь хорошее подумай». Я закрыл глаза и увидел перед собой котлету с макаронами. «Ну?» — спрашиваю. Она смеется: «Твои мысли на лбу у тебя написаны. Даже слюнки глотал».

Так у меня не получилось культурного вида, как должно быть у людей научного статуса. Не вышло. Мало еще учился. Наша культурологичка говорит: «Культура в человека не одним разом входит».

Один мужик из нашего университета, этот уж точно на 3-м, а то и на 4-м курсе, меня учил: «Брось ты, — говорит, — правила

запоминать. Лучше каждый раз соображай, как при этих обстоятельствах так себя повести, чтобы других людей не обидеть, не потеснить, — вот и будет культурное поведение».

Это понятно. Только вот — я буду думать, чтоб никого не потеснить, а кто будет думать, чтоб меня не потеснить? Он взглянул на меня с сочувствием и сказал: «Не дорос ты еще, студент!»

Если честно, я обиделся. Учил, чтобы других не обижать, а я что, не «другой»?

Пошел я со своими культурологическими проблемами, как говорится, куда глаза глядят. Оказался в туалете. И не пожалел. Познакомился там с грандиозным парнем. Он ничего не боится и даже сам себя называет богатырем по фамилии Илья Муромец.

Он на белом кафеле написал черной краской огромными буквами: «ЭДИК». «Это ты — Эдик?» «Я, — говорит, — и рисует знак, который в математике обозначает прибавление: «+».

— Я, — говорит, — очень люблю иностранные слова. Пристрастие у меня такое. Меня даже ребята когда Ильей Муромцем, а когда Иностранцем зовут.

И вижу, пишет что-то дальше: «ЮЛЯ = LOVE». А под «LOVE» изобразил два сердца, продырявленных одной стрелой, похожей на щетку, которой моют бутылки.

— Обожаю, — говорит, — английский и вообще все иностранное, вообще иномарку. А вот это, — кивает на свежесделанную надпись, — древнее искусство: настенная роспись. Через 100 лет, знаешь, как эта надпись цениться будет... Стена-графья, понимаешь, это национальная традиция.

Я его хотел предупредить, чтобы он с этой традицией не погорел. Ректор сказал — отчислять будем. А он:

— Не боюсь.

— Ну, — думаю, — парень!

Потом, правда, выяснилось, что его давно уже отчислили, только не за стена-графью, а за двойки, и не из нашего университета, а из другого.

Он засмеялся и говорит: «У меня высшее законченное в объеме незаконченного первого курса».

— И что ты теперь тут делаешь?

— Что все тут делают. Прихожу в туалет пообщаться с наукой. У меня тут поблизости бизнес.

— Продаешь?

— Если покупают. Иномарки. Не, машины я не люблю, — бюстгальтеры...

— Бюстгальтеры?! — удивился я.

— Чего удивляешься — по номерам.

— По номерам?! На бюстгальтерах специализируешься?

— Почему? Еще очки черные, коробочки разные...

— А в коробочках что?

— Купить хочешь? Дорогие.

— А чего в них?

— В коробочках? Ну, как тебе сказать? Дребедень. Вообще то, чего богатым недостает для счастья. Им всегда чего-нибудь недостает.

Ушел Эдик-бизнесмен, за руку попрощался, обещал заходить. А стена-графия его осталась на белом кафеле туалета. И какое-то беспокойство осталось.

Что-то как-то даже изменилось в моих научных понятиях. Нашел я пустую аудиторию, уселся в уголок и захотелось мне учиться. Вытащил свои конспекты и стал переписывать курсовик.

Живой пример Эдьки-исключенца подействовал. Сижу, пишу и радуюсь, что меня еще не исключили, в туалете не напакостил, сессию сдал.

Вдруг слышу — под самой дверью кто-то научный разговор ведет, друг на дружку попеременно наезжает:

— Иностранцы океан пересекают, чтобы эрмитажного Рафаэля посмотреть, а Вам одного часа потратить жалко в музей сходить. — Голос мне показался знакомым, не наша ли культурологичка? Вот у нее работенка: обрабатывай каждого, а те упрутся — сами все лучше знают или не знают и знать не желают. А тот за дверью басыт:

— Делать вашим иностранцам нечего. Пошарил в интернете — и смотри картинки сколько хочешь, и пересекать ничего не надо.

Наша культурологичка даже засмеялась, наверное, сквозь слезы.

— Подлинники, — говорит, — а не картинки смотреть надо. Подлинники, написанные вдохновенной рукой художника.

Меланхолик ей в ответ:

— Какие там подлинники в Госэрмитаже. Одни пере-рисовки. Могут доказать. Рафаэль жил тысячу лет назад.

Культурологичка сразу поправляет:

— Полтысячи будет точнее.

— Ну вот, — басит Меланхолик, — так о каких подлинниках можно говорить? Самого Госэрмитажа еще тогда не было. Где они, эти подлинники висели?

Но нашу культурологичку тоже не собьешь:

— Вы забываете два объясняющих обстоятельства: специальный температурно-влажностный режим в музеях и замечательных реставраторов, отдающих свой талант для сохранения художественных ценностей прошлых эпох.

Но студент попался такой, что и десяток культурологичек выдержит:

— Кто, — говорит, — мне гарантию даст, что картины рукой Рафаэля сделаны.

— Я вас научу отличать подлинники от копий. Вы сами и будете гарантом.

Вот этого он никак не ожидал. Через минуту культурологичка и Меланхолик снова проходили мимо двери, и я слышал, как он спрашивал: «И я смогу отличить?»

Недаром старалась, добила таки.

Только голоса их смолкли в коридорных далях, как вдруг дверь настезь, в аудиторию всовывается физия и кричит в коридор: «Сюда! Сюда! Свободная аудитория!»

Набежало их. Кричат, рассаживаются. Оказалось это преподаватели примчались, потому как в их гуманитарном помещении штукатура с потолка может обвалиться — там кричать нельзя.

Вдруг влетает самая главная из них, заведующая. Как из бани. Ректор созвал их и устроил им головомойку, заведующим. Наверное, картинка была почище рафаэлевской.

Она прискочила, а передохнуть никак не может, захлебывается: «33 папки! 33 папки!» Молодой преподаватель смеется: «У вас, — говорит, — как в «Пиковой даме»: три карты! три карты!» Но тут уж не до смеху, пусть как в «Пиковой даме», пусть хоть как, ей позарез нужны 33 папочки.

— У нас есть 33? — это она лаборантке. Лаборантка перепугалась:

— Чистых? Грязных? — у нее, по всему видно, ни чистых, ни грязных.

Я даже выглянул из-за шкафа и увидел... Сначала я увидел выпученные глаза лаборантки, но в тот же миг лицо ее изменилось, оно

стало совсем как бы ну рафаэлевским, и я услышал ее сладкий голосок: «А блузочка, блузочка у вас какая! Чудо блузочка... Ой, а рюшечки... На заказ или как...»

И с заведующей прямо на глазах случилась перемена: она взбодрила рюшечки, поплевала на ладошки, стряхнула с плечиков опавшие из ее кудрей волосики и не менее сладким голоском, словно кто-то говорил за нее, спрятавшись под ее стул, проронила: «Вам нравится? Правда, эстетично?»

Тут все так оживились; так раскудахтались: «Ах, блузочка, ах, рюшечки!» А она сидит, рюшечки обдергивает, улыбается... Забыла и про ЗЗ. «Я сама, — знаете, — когда ее увидела, ну просто влюбилась. Ну, думаю, я буду не я, если ее не оторву. И оторвала. Ну, а как она на мне смотрится?»

Тут все запели хором. А лаборанточка из-за ее ворота достала этикеточку и прочитала: «Made in Paris». Я сразу сообразил — по-иностранному, и вспомнил своего друга туалетного, Эдика-иностранца.

Молодой преподаватель в восторге выкрикивал:

— Ах, блузочка! Ах, рюшечки! Они мне всенепременно будут сниться.

А сам вроде смеется, даже закашлялся.

— Одну, — говорит, — папку в честь нашей уважаемой руководительницы давайте назовем «Модельерно-эстетическая работа». — И поперхнулся.

Все смолкли: бывают такие работы или не бывают?

— Бывают, бывают. В человеке все должно быть прекрасно... И блузочки... и рюшечки...

Я чуть не повалил стул у себя за шкафом. Советчица заведующей сказала, стукнув себя по лбу: «Чехов!»

Вот как дело делается, — подумал я, — один умный скажет, и все повторяют в случае чего... — я как-то успокоился.

Заместительница заведующей беспокоится:

— А какие еще бывают названия?

— У работ или у папок? — это молодой опять кашляет, слезами обливается.

Заведующая метнула на него глазом. И Заместительница тоже метнула. Помощница припозднилась, но тоже метнула. Советчица заведующей заторопилась, заторопилась: «Давайте думать головой!» И тут все начали головой:

— Учебная, — кричит один.

— Методическая, — кричит другой.

— Воспитательная, — третий.

И откуда они столько набрали названий? А заведующая после каждой новой папки: «Ну сколько, сколько уже?»

Советчица знай свое: «Думайте головой, головой думайте!» А что? Помогло. Молодой подумал головой и подобрал:

— Экспериментально-морально-эстетическая!

Потом кто-то еще вспомнил, и пошло:

— Культурно-просветительская!

— Культурно-воспитательская!

— Культурно-культурологическая!

А заведующая жалобно: «Сколько?! Ну, сколько же?» Когда дошло до 31, все выпотрошились до печенок.

Молодой говорит: «Да гори они огнем, эти мифически-мифологические папки!»

Но тут, в этот момент, когда кафедра, можно сказать, на ухах стояла, Молодому пришла блестящая идея, и он воскликнул:

— Текущие дела!

Что тут сделалось, все по очереди его обнимали и целовали. А он сидел на столе, ногами болтал, наклонялся и подставлял щеку, то правую, то левую, то опять правую.

Заместительница Марья Ивановна, Помощница Марья Ивановна и Советчица Марья Степановна хор на разные голоса изобразили: «Да как это можно! Чтоб самое главное! Самое важное! Самое нужное!»

Заведующая немного отдышалась: «Хоть одной и не добрали, но в основных параметрах выполнили то, что велел ректор».

И тут Молодой вдруг говорит так нахально: «Да совсем не то вам ректор сказал!»

— Как не «то»? Я своими ушами слышала!

— Видно, не своими. Он сказал: «Работу кафедры будет проверять ректорская комиссия. Приведите все делопроизводство кафедры в порядок — планы, отчеты, протоколы, материалы конференций и т. д. и т. п. Надо подложить по направлениям работы. И делать это постоянно».

Две Марьи Ивановны и одна Марья Степановна мгновенно ополчились на Молодого: «Откуда вы взяли? Вас там не было! Что вы такое декларируете? Не солируйте, пожалуйста».

— Ну, а теперь, — говорит им Молодой, — придумывайте, что и в какую папку вам подложить, — и ушел.

Они остались, молчаливые и задумчивые.

— Его там не было. Мы галдели, и я галдела, но видела, что его там не было, — это Заведующая.

А обе Ивановны и одна Степановна предположили, что, быть может... может быть... в кабинете ректора есть потайная ниша.

Заведующая забеспокоилась, забеспокоилась. Главное, ведь одной папки не хватает. «Да, — сказала Советчица Марья Степановна, — конец делу венец».

И так все тут заохали, затомились, что я не выдержал и крикнул из-за шкафа: «Разное!»

Это было не слабо. Им мой голос причудился ну все равно, что свыше.

Заведующая даже незаметно стала мелко-мелко крестить рюшечки: «Слава Богу! Все».

Тут все повскакали, загудели, зашумели...

Смешные эти преподаватели, обхохочешься на них. Но и они тоже люди, и их тоже жалко. И я был доволен, что выручил их.

На улице стало темно, я забоялся, что мой друг Эдик-бизнесмен уже покинул свой офис, и я не узнаю, что в тех коробочках с иномарками. Ларьки стояли в ряд, темные, вроде как сказочные избушки на курьих ножках, только без ножек.

Молодые бизнесмены тут же, между ларьками играли в «наперстки». Эдик, мой друг, расписывал огромной кистью заднюю стенку своего офиса, на этот раз белой краской, хорошо видной в темноте.

— А, старик, привет, — сказал он, взглянув через плечо. — Ну, все вызубрил? А как тебе моя стена-графия?

И я увидел написанное огромными буквами знакомое «ЭДИК + ЮЛЯ = LOVE» и два кривых сердца, пронзенных одной щеткой.

Эдик кончил работу. Полюбовался на содеянное и сказал мне:

— Знаешь, если я захочу, я запросто могу тоже стать инженером. Мой папахен — это по-немецки, — пояснил он, — максимиллионер, — и последнее слово он написал на стенке своего ларька русскими буквами: МАКСИМИЛЛИОНЕР.

Мне сильно захотелось дать ему хорошего щелбана, но я твердо решил выполнять все культурологические правила нашего университета, поэтому я только сказал:

— Ну ладно, Иномарка, я пошел. Заходи в туалет.